

# МАНКИ



## БОРИС ЛЕЙБОВ

Родился в 1983 году. Онучил факультет социологии The University of Glasgow, Высшие курсы сценаристов и режиссеров (сценарная мастер-

ская Олега Дормана и Людмилы Голубниной). Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Иерусалимский журнал», «Нрещатин». Живет в Москве и Тель-Авиве.

Дети в яблоках. Я слежу за тем, как ползут солнечные пятна по их загорелым спинам. Сквозняк выдувает занавески, и июльские лучи, проскользнувшие сквозь кружевные узоры, гуляют по бронзовым бокам и ребрам. Я подглядываю в створку. Они меня старше и после обеда не спят. Мальчик в газетном колпаке – соседский. Младший из Соколовых, Андрей. Девочка – это Лена, внучка поселкового сторожа. Она тоненькая и на речке, после купания, всегда дрожит, как осинка, кутается в полотенце, а ее бескровные губы синеют. Она сосредоточенна. Ее язык высунут и волен. Его кончик выводит в воздухе вензель, пока все Леночкино внимание приковано к столу. Они собирают модель серого крейсера с черным якорем и тремя полосатыми трубами. Шорты ее робко сползли, самую малость, так, что мне видна ровная, как горизонт, линия загара, ниже которой белая притягательная кожа. Восторг угнетает дыхание, и я перевожу глаза с ее спичечных ног на стол, но не на корабль, а на оставленную кем-то из взрослых книгу. Ее бросили открытой приблизительно на середине, и ветер балуется несколькими страницами. Они, как пробор, ложатся то на одну, то на другую сторону.

Я затворяю дверь, невозможно тихо. Ее надо приподнять и только после потянуть. Иначе протяжный скрип. Спать мне еще час, и только после

позволят приклеивать пушечки к палубе. Дверь моей комнаты старая, крашенная в нежный розовый цвет. Поворотная круглая ручка отражает меня в причудливом виде. В потертом от прикосновений медном шаре доминантой лица становится то нос, то глаз. Я сижу на корточках и киваю. Физиономия моя мне наскучивает, я поддеваю ногтем лопнувший воздушный пузырь под разошедшейся краской и принимаюсь раздевать дерево. Под лососевой пленкой лакированная доска и никакой тайны. Часы над дверью выносят суровый приговор: с тех пор как я прикрыл дверь и перестал разглядывать девичьи ноги в золотом пуху, прошла всего минута.

Побег! Спасительная мысль о побеге чужая, шальная, летняя. Окна распахнуты настезь. Этаж первый. О чем я? Весь наш дом – один большой первый этаж. Хотя нет, не большой. Я подтягиваюсь на подоконнике, отворачиваю от себя фарфорового Пушкина-гимназиста – так я устраниваю свидетеля – и переносу ноги по ту сторону, свободную. До травы один обычный взрослый шаг или два моих, размашистых. Над домами неразборчиво шепчет липа. Она ветвиста и велика. Можно истратить несколько жизней, подсчитывая ее листья, и все равно не успеешь. Ветер стаскивает с нее желтые цветки и бросается ими в меня, во взрослых, в бочку с дождевой водой на углу дома.

Взрослые повернуты ко мне спинами. Они милые в своей уверенности. Сидят себе, красят зубья забора в зеленый и представляют, как я сплю, ну или сладко ленюсь, как положено детям после обеда.

Я крадусь. За липой, на косом столбике, грустный умывальник. По его жестяной шее сбегают редкие слезы, и я не могу не замереть и не подставить ладони. Именно эта капля, и только этой воды, мне вдруг необходима. Один родитель обернулся, второй потянулся и звучно зевнул, а я упал ниц. Сердце мое клокочет, горло высохло и колени гуляют. Цель была на вытянутой руке, а я погорел на слабости, на любопытстве, на глупой капле. Но судьба милостива. Вот они снова красят. Красят и говорят. Говорят свои бестолковые слова о краске.

Перед калиткой в лес последняя преграда: страж, привратник, грозная стрекоза. Она замерла и тарашится в упор. Гонит меня обратно в дом, в неволю.

– Ни шагу назад, – шепчу я и собираю мягкие пальцы в кулак, чтобы пригрозить ей.

И она отступает. Поднимается выше, пропуская меня, и остается там висеть, на недосыгаемой высоте. Дверца податливая, смазанная и, как верный друг, молчаливая. Я сбегая из быта в дикий мир.

Еловый пролесок, тянувшийся от дачи к реке, казался мне тогда непролазным и темным. Я наполнял его волками и черепами на посохах с горящими глазами, заимствованными памятью из книжных иллюстраций. Но ничего этого не было. Ни крика совы, ни охлаждающего крови воя, ни рыжих фей. Феи – мой выдуманный пальчиковый народ – каждый раз оказывались обыкновенной лесной земляничкой, стоило только приподнять лист. Если обезглавить фею и съесть ее, то ненадолго будет хорошо. Но поднятие листа было сродни пропуску за кулисы – конец таинства. Проглотишь ягоду, и вот уже Жизель не Жизель, а стареющая актриса ТюЗа Клавдия Ивановна. И я не рвал ягоды. Не сек голов. Я шел лесом к реке.

За спиной хрустнула ветка, и сердце мое покакало, как другой ребенок, на деревянном коне. Я замираю и дышу часто-часто, но тихо-тихо. Снова! Это точно волк с горящими глазами или череп с волчьими... От ужаса мысли бегут врассыпную, оставляя в свете прожекторов одну, главную: а ведь мог бы сейчас лежать, следить за ленивой стрелкой, ждать кукушку и слушать липу. Но нет... Тот, кто хрустел, заблел. Ноги мои подкашиваются от облегчения – невесомость

спасенного. По правде, я, конечно, же знал, что за спиной никого страшного нет. Но как приятно напугать себя самого до полусмерти, чтобы после счастливо обмануться. На меня тарашилась коза – круглыми желтыми глазами, поделенными черным месяцем зрачков. На ее спокойное ухо опустилась малахитовая муха, и ухо стало беспокойным, подвижным. Она проблеяла еще раз. Я передразнил. Она осталась равнодушной. Я отправился дальше.

Через сотню-другую шажков я был вынужден прервать путешествие. Я прыгаю на одной ноге, стараясь вытащить елочную иголку из пятки и удерживать равновесие эт зе сам тайм.

Хм, и откуда взялось это «тайм». Лето же. Целый июнь проветривал голову от глупостей – и вот надо же, всплыло.

С пригорка за просекой, из которого, как подосиновик, росла часовня, мне навстречу спускается старик в резиновых сапогах, с удочками, взваленными на плечо, и жестяным бидоном в руках.

«Сейчас покажет рыбу». Я забываю про занозу и, прихрамывая, бегу к рыбаку. Я страсть как люблю живых рыб. В моей дачной библиотеке из одной книги есть одна книга про подледную рыбалку. Ее сосед по полке – высушенный шучий череп.

– Пусто, – разводит неудачник руками. Это старик Соколов, Андреев дед.

– А мой разбойник не у вас разве?

– У нас. Корабль клеит.

– А ты что ж? Чего бродишь один?

На кончике его широкого носа пучок темных волосков. Я только их и вижу, а не выцветшие глаза, в которые положено смотреть в разговоре. И как он только уживается с ними, волосками на носу, а не под ним, как у прочих.

– Чего шатаешься?

– Английский учу. – Я вру первое, что приходит на ум.

– Ну?! А скажи что-нибудь.

Я знаю наверняка, что старик окромя русского ничего не слышал, и понимаю, что соврать получится бессовестно и легко.

– А чего сказать-то?

– Обезьяна! – воскликнул рыбак, пораженный собственной оригинальностью.

– Манки. – Даже врать не пришлось.

– Эх, – вдруг несколько разочарованно вздыхает старик и идет себе дальше.

О своем, что ли, вспомнил? Или ожидал другое слово? Или подумал – эх, соврал мне, ведь знает же, что я окромя русского ничего не знаю.

Я восхожу на холм и сажусь на старые каменные ступени часовни. Мне уже рассказывали, что все, что осталось от имения, – старая церковь да погост, и дачи наши проросли сорняком в вековом бору. Это все не мои умозаключения, я подслушал у своих взрослых. Как по мне, связь между сорняком и домом не очевидна. Мои наблюдения проще, но честнее: вот церковь и кладбище, за ними плотина, а позади остался лес. Все!

Нехорошие мысли, как незваный гость, застают в самое неподходящее время, когда обнаруживаешь себя среди ржавых оград и мраморных плит, например. Вот и я только что чужим голосом, зрелым и рассудительным, подумал, а зачем я вообще иду к реке. Купаться все равно не буду. Не настолько я рецидивист, чтобы еще купаться без присмотра. Я маму боюсь. Я осторожный. Если обнаружат мой побег, которому уже целых минут десять, то наказание обязательно последует, но оно будет не чрезвычайным. А если всплывет, что я плавал один? Без надзора? Что ж, решившись на такое преступление, надо быть готовым к гибели. Лучше уж не всплывать.

Я стараюсь не читать надписей на надгробиях. Обычно смотрю под ноги, когда редко прохожу по кладбищенским проходам. Взрослые никогда не водят меня по этой дороге, только в обход, под горкой. Но так дольше. Такой путь ворует речное время. Шел бы я, как они, – плелся бы с полчаса вдоль русла. Сейчас с холма мне видно, почему путь понизу так долог. С высоты наша речка похожа на змею. Нарочно так не изовьешься. Последнюю табличку на кованом кресте я все же прочитал и теперь, спускаясь к затону, к деревянному горбатому мосту, вынужден гадать, кем был тот несчастный. «П. А.» – это Павел Алексеевич, или Петр Александрович, или Пантелеймон Антонович? Хотя вряд ли. Я и фамилию успел разглядеть, разумеется, случайно. Пантелеймон Нечушкин... Чуть какая-то, несусветная.

С головой, полной имен, я не заметил, как проскрежетали подо мной сгнившие доски мостика, и обнаружил себя уже на другом берегу. Полощущий ноги – так назвали бы полотно, писанное с меня, и повесили бы в Третьяковке. Не меня, то есть, а картину. От хищного полуденного солнца я спрятался под иву и прилег на траву так, что головой уперся в кору, а ступни погрузил под воду.

Вот они клеят модель, задумался я, и это скучно. Лучше б мы ничего не делали, но вместе. Вместе – это без Андрея Соколова. Мы бы валялись в траве... И я построил над мечтой второй этаж,

высокий и опасный. В нем мы все так же лежим в траве, вымачиваем ноги, а плавки ее несколько сползли, как недавно шорты на нашей террасе.

Незнакомые ощущения захватывали все мое тельце. Сперва странным образом зачесалось сердце, и я без толку поскреб грудь, зуд тем самым не успокоив. Затем щекотка сменилась невосомостью и опустилась ниже. Мне почудилось, что живот мой пуст, и связано это было с внезапным чувством большой свободы. В воде плескалась мелкая рыба. Где-то близко трещал сверчок. Все вокруг меня было живым. Все, все двигалось и гудело. Я засмеялся, хотя смеяться в одиночестве странно. Но чем страннее я казался сам себе, тем сильнее хохотал. Ногам было прохладно, животу легко, и сердце колело от радости. Я встал над собой, глядя на себя, хохочущего, с сомкнутыми глазами и разинутым, как от зевоты, ртом. Я лежал и стоял и стал, как мне показалось, всем – и той рыбой, и тем сверчком, и стрекозой, всеми, с кем я сегодня повстречался, и не по очереди, а одновременно. Всеми, кроме Нечушкина П. А., он в живую эту мысль не умещался. Так, изнемогая от счастья, от точного ощущения принадлежности к жизни, я сдался и уснул, и ничего плохого со мной не приключилось. Не было и расплаты.

Провал был неглубоким и недолгим. Это я понял, когда смотрел на циферблат в своей спальне. Если маятник – сердце часового механизма, то мое несется в два, в три раза быстрее. Моя грудная клетка похожа на мех аккордеона в разгар припева. Язык болтается, как у собаки, выгнувшей в окно машины морду. Еще никто и никогда не добежал от плотины до нашей дачи так быстро.

Заслышав глухие шаги взрослых и скрежет порога, я запрыгиваю в деревенскую высокую кровать, выдавливая из пружин стон, и утыкаюсь носом в стену. Доверчивая мама трогает мою мокрую от бега шею и шепчет отцу: «Во сне вспотел». Я потягиваюсь, удивленно осматриваюсь и рассеянно смотрю вверх отца, застывшего в проеме. Смотрю на переплетенные провода, намотанные на белый керамический изолятор, и мне кажется, что мне все же удалось всех обмануть.

